27 ЯНВ 1983
Комсомольская правда
г. Москва

Василь БЫКОВ:

ВСЛЕД ЗА ЧЕЛОВЕКОМ

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Улица Танковая. Наши дни.

— Вы написали пятнадцать повестей и множество рассказов. И все — про войну.

— Так Вы считаете?

— А Вы — не так? «Фронтовая страница». «Третья ракета». «Западня». «Атака с ходу». Сами названия уже определяют и время, и место. Дело, понятно, не в названиях — в сути. Достаточно припомнить основные события хотя бы одной, вероятно, самой известной Вашей повести — «Сотников»...

— Разве эта книга только о войне?..

Поле боя. Дни войны.

Тучи слева. И тучи справа. Там, за тучами, идет и светит, наверное, невидимое отсюда солнце. Упали в ноги последние холодные комья. И все. Тихо-тихо.

У бывшего перекрестья бывших дорог, разъезженных сегодня до гигантских размеров поля боя, черными точками, вроссыпь, вымороженные, сутулые скирды соломы.

Он оглянулся. Черные, похожие точки... Они шли. Двигались наперерез, на него, укрупняясь, отрываясь стремительно от близкого горизонта. Немного — и танки будут здесь.

Какие из этих неуклонно сходящихся точек приблизятся раньше — решает скорость раненого человека.

...Очередь ударила и не догнала. Воткнулась в грязь в пяти, уже пройденных им шагах. Стальная случайная пуля стегнула сочно в кожаную мякоть, перебила ремешок полевой сумки... Пристрелка? Нет? И он догадался: не пристреливаются. Охотятся. Не так, чтобы срезать и наверняка, а так, чтобы загнать. Чтобы заставить лечь и сдаться...

Двести шагов до скирды. Сто девяносто девять... Что-то хлопнуло и переломилось за спиной: поднялась впереди расчлененная, разбитая в прах земля и застыла, серая, в небе...

Улица Танковая. Наши дни.

Мир, как он есть с высоты девятого этажа. Земля отсюда — без лишних подробностей. За чистым продолговатым окном — одно большое белое небо. За окном, сбоку (на девятом-то этаже!) корявая ветка с напрягшимися прямыми сучьями.

Словно темная ладонь раскрылась, чтобы удобнее было птицам... Кормушка. На кормушке — птица. За двойными стеклами ее едва слышно. Но и она есть в этом мире, маленькая, спрятавшаяся будто меж черных обугленных пальцев. Может, ее присутствие и пронзительней, и острее от того, что ее почти не слышно?..

— Выбор... Говоря о Ваших книгах, Василий Владимирович, чаще всего речь ведут именно об этом.

— Да, выбор... На поверхности — падение или взлет. Глубже: жизнь или смерть. И еще глубже и проще: сумеет ли человек остаться человеком, сможет ли отстоять свое достоинство?

— В обычной жизни, мне кажется, не столь жесткие точки отсчета.

— Возможно. Но я предпочитаю говорить о войне, потому что война — это жизнь на пределах человеческого. А уж коли сама жизнь идет до пределов, то и нам, людям, важно и нужно досконально эти пределы познать.

— Вы их знаете?

— Нет. Для того и пишу, чтобы узнать...

— Ужесточение жизненной ситуации не означает ли обеднение и упрощение ее?

— Вопросы жизни и смерти — из самых главных. А если так, стало быть, их и достаточно, чтобы сказать сполна о самой жизни. Без эффектов. Без ненужных красот и красивостей.

— А красота подвига?

— Подвиг — это когда сама гибель оправдана общезначимым результатом. А если не оправдана? Если не принесла результата? — спрашиваю себя.— Виноват ли в том погибший? Нет. Чаще всего нет... Война была такая страшная, что многие гибли, не сделав ни единого выстрела, так и не поняв, что уже погибли...

Прежде всего веду речь о гражданском населении, разумеется. О тысячах тысяч погибших жителей советских городов и деревень... Считаю своим долгом говорить и говорить и о такой смерти и такой судьбе. Здесь, считаю, много правды о войне, которая, как известно, действует далеко не по законам красоты и логики.

Для чего, собственно, писать о войне? Для того, чтобы говорить правду о войне. А если мы знаем, что эта война—самая страшная за всю историю, то, стало быть, есть смысл брать трагические обстоятельства, направленные против достоинства человека на войне и возле нее.

— Крайности убедительны, только вряд ли вся правда в них...

— Что значит «вся»? Где она, «вся»? Фашизм — это самая жестокая военная машина. Но нельзя забывать, самая жестокая еще и потому, что умная. Не оставляющая — в своем «идеале» — ни единого выхода, ни единой надежды на спасение жизни и духа. Умело уничтожающая и физически, и нравственно... Если ты реалист и пишешь о войне, то это надо брать за исходное. Надо начинать с этого страшного нуля. И идти дальше... Мы утверждаем: человеческое в человеке всегда сильнее. Это правда. Но это долженствование, эту интуитивную веру необходимо подкрепить бесстрашным поиском и примером. Иначе нынешнему человеку трудно научиться выстаивать и побеждать в схватках с идеологиями и силами, по своему изуверству и глобальности родственными фашизму...

Я не знаю, не могу знать самых «предельных» пределов... Но во всяком случае я знаю и утверждаю в своих книгах, что наш, советский человек способен, может противостоять самым страшным силам...

— Нелегко, верно, живется в быковском «пространстве крайностей»...

Быков усмехается. Не понять, грустно или иронично...

— Нелегко. Зато, смею думать,— честно.

Раз. Два. Три... И через паузу: раз, два, три... Птица, за окном, напоминает о себе.

В этом пристрелянном до стопроцентного поражения пространстве — для живого, для теплого — мало места совсем. Может, потому и немного слов находится про то, что на войне не очень уместно: про траву, про солнце, про птиц, про небо? Может, оттого и редок взгляд, вырывающийся из нервного, перенапряженного поля боя. Редок от боязни не растерять собранности сердца, знающего скупой и слепой счет мгновениям, отпущенным тебе здесь: для того, чтобы ударить, для того, чтобы принять удар,— вовремя и достойно.

Поле боя. Дни войны.

Земля вздохнула под ним, дернулась справа налево и приняла в себя оторвавшиеся было, но отброшенные назад, возвращенные небом тонны земного праха...

Он отлепился от земли. Поднялся и, не разогнувшись еще, бросил себя вперед, к далекому небу.

Танк не приближался, выдерживая для чего-то дистанцию. И когда человек падал, он тоже тормозил, не жалея металла, поскрипывая и повизгивая механической утробой. Видимо, все-таки он хотел его раздавить... Просто взять и наехать, не покачнувшись и не дрогнув.

Было совсем уже немного и до скирды, когда он понял, что скирда эта не спасет, не поможет.

Улица Танковая. Наши дни.

— Вы «помещаете» своего героя, Василий Владимирович, во все более трудные условия. Взять хотя бы Ивановского из повести «Дожить до рассвета» — лейтенанта, отдавшего жизнь «в обмен», если можно так сказать, на одну жизнь обозного солдата и какой отметке расположены.

— Хорошо. Тогда я иначе спрошу: что движет Вами? Чем Вы руководствуетесь, ставя своего героя во все более трудные обстоятельства...

— Мы, воспитывая, куда чаще показываем потолок, нежели пол, небо — нежели землю. Я против этого. Я за то, чтобы человек, в особенности молодой, был психологически подготовлен к незнакомому, необычному. Необычное же — это не только выдающееся. Это часто заурядное, но на пределах возможного... Такова судьба Ивановского, того же Сотникова, да и старосты, и Дёмчихи из повести «Сотников». Что особенного совершили они? Ничего. Это по одной мерке, если мерить глобальными масштабами. И—многое, если мерить иначе. Они сумели остаться людьми...

Мы, если говорим о войне, то, конечно, прежде всего речь ведем о выдающихся подвигах. Да, это нужно. Это и привлекает. Но, по-моему, полезно и важно говорить и о простых, а если реально оценивать опыт прошлого, то тоже чрезвычайно трудно сохраняемых ценностях. О чести, о достоинстве человека, которое тогда только достоинство, когда оно неизменно: и в уличной драке, и в общении с начальником, и в стремительной фронтовой атаке, и один на один — в столкновении с вражеским танком. В таких разговорах не красота, не романтика должна быть главным аргументом. А — правда. Будничная правда. Ведь ужас будничной, безвестной смерти — одно из самых тяжких испытаний для человеческой души. На войне редкому человеку выпадало взорвать эшелон, уничтожить колонну вражеских танков. Для этого, кроме характера, нужны и средства, и время, и место, и многие другие условия. Которые должны еще и совпасть. Нередким было другое. Каждому надо было быть готовым отдать жизнь, чтобы не прошел хотя бы один вражеский солдат. Чтобы отстоять хотя бы одну пядь родной советской земли.

Да, мы верим, мы убеждены, что жизнь всегда побеждает. Но в основе этой веры должен быть не бездумный наивный автоматизм: после «сегодня» обязательно наступит «завтра»... Наступит. Если, конечно, каждый сознательно готов обеспечить его наступление. Речь — о силе, о способности выстоять и в тех случаях, когда выжить — не достойнее, чем умереть. Когда выжить — значит подчас согласиться, сломаться... Рыбак, например, выбрал жизнь. Любой ценой, ценой чести — но жизнь. Сотников выбрал достоинство.

— Но на войне были, вероятно, и иные ситуации? И иные решения — при не менее однозначных обстоятельствах...

— Разумеется. Когда жить — означало побеждать. Бороться и побеждать: с оружием, без оружия, даже фактом существования своего несдающегося «я». Но не надо обольщаться видимой простотой и легкостью такой судьбы... Рыбаку и эта судьба вряд ли была по силам: ведь жить, положим, в концлагере, в гестаповском застенке, под пытками, под страхом крематория — составляло куда более страшное испытание, нежели умереть...

— Василий Владимирович, приземленность отрезвляет, но она же, как известно, может подрезать крылья.

— Да нет, Вы не правы... Хочешь вырастить стойкой, глубокой молодую душу—не допускай «ножниц» меж реальным и должным, меж тем, что есть в жизни, и тем, что ты, из лучших побуждений, частично умалчивая, местами приукрашивая, сообщаешь о ней. «Ножницы» — это две морали, две совести, две нормы поступка.

Это не что иное, как воспитательный, педагогический брак. К важнейшему делу воспитания необходимо подходить только с позиций партийности, только с позиций правды. Суровая же школа жизненной правды еще никогда и никому не помешала.

Поле боя. Дни войны.

Вот и остановился он. Остановился, поняв, что и впереди нет спасения. Притормозил и танк, готовясь, разворачиваясь башней и выбрасывая из-под себя мерзлую грязь со снегом...

Улица Танковая. Наши дни.

— Нынешние молодые... Коли уж мы заговорили, то давайте до конца определим: какими Вы их видите?

— Они мне, в общем-то, нравятся... Тут вот что важно: еще никогда нравственные состояния войны и мира не совпадали полностью. Смелый в мирной жизни — не значит еще непременный храбрец на войне. И по-другому: парень, на которого рукой махнули—как знать? — может, он-то героем и станет! Я все это к тому, чтобы предостеречь от скоропалительности: к месту и не к месту прикладывать беспощадно жесткие фронтовые мерки — к мирной-то жизни... Прикладывай, да не ошибись.

— А Вы не боитесь ошибиться, «прикладывая» свои, тоже военные, мерки к современным проблемам?

— А это вовсе не так! — засмеялся Быков.— Ничего-то я не прикладываю и не притягиваю.

— Непонятно...

— Я просто считаю, что должно быть общее, и есть оно — скажем, на глубине корней: философских, нравственных. Эти-то «корни» меня и интересуют... Конечно, автору, говоря слогом старомодных романов, хотелось бы надеяться, что все же некоторые его нравственные и философские выводы окажутся универсальными.

— Некоторые?

— Да. Некоторые,— становится он сразу серьезным.— Мы утверждаем: в жизни всегда есть место подвигу. Совершенно справедливое крылатое выражение. Только как бы нам всем избежать упрощения в его понимании и толковании! Вот когда все уезжали на целину, один поэт взял и написал одно яркое стихотворение, как хорошо ехать на целину, вот бы сейчас и он поехал—и так далее... Стихотворение напечатали. Похвалили. Поблагодарили. И предложили поехать. «Да вы что, товарищи?! — взмолился поэт.— Не понимаете?! Мое дело — написать, а поехать — это уже их дело!»

Как бы нам и так сделать, чтобы «написать» и «поехать», «отправить» и «пойти» — совпадало в одном человеке до точки... Я вообще считаю, что нужно беспощадно наказывать тех, кто, сам оставаясь в тени, берется подталкивать кого-либо на поступок, который бы сам ни за какие коврижки не совершил и родному сыну бы не посоветовал.

Тут важно вовремя, как говорил Достоевский, представить, что на месте другого, чужого — твоя сестра, твой сын, твоя мама. Наконец, если этого мало, то и ты — сам...

— Что же Вас занимает более всего, что для Вас важнее — «война» или «мир»? Проблемы прошлого или проблемы современные?

— Как Вам сказать? — задумался Быков, откидываясь в кресле и уронив светлые тонкие волосы на белый нахмуренный лоб.— Я в любом случае предпочитаю говорить о настоящем. О настоящем, а не о должном. Предпочитаю также говорить о настоящем, а не только о прошедшем. Хотя в прошлом наши корни, и надо разбираться в них, чтобы понять, куда и как растет ствол настоящего...

Это, наверное, и есть самое важное?

Поле боя. Дни войны.

Последние метры. Он полз. Не было сил подняться. Болела рана. До скирды — считанные шаги. Если считать шагами.

Скирда не спасала. Но он знал, что и там, за скирдой, все равно надо будет ползти. Вставать. Идти. Пока подается и падает под ноги твердая, помертвевшая от утомления земля. Пока дрожит и манит впереди горизонт.

Покачнувшись и проскрипев на развороте всем своим тяжким механическим тулозом, танк круто и сходу рванулся к нему. Бешено завертелись небесно высверкивающие, падающие на него траки.

...Что-то вздохнуло и грохнуло над самой головой: танк дернулся и лишаясь скорости и сил, прохрустел совсем рядом, захватил лишь полу темной, на снегу, тонкой шинели... Остановился. Затих. И машинально умер.

Он был не один на этой земле. Да, он был не один, этот лейтенант, который смог не лечь и не умереть, который сумел идти и уйти. Большего у него и не было для победы. А это и была его победа.

Общая победа: живого, борющегося, человеческого. Общая победа двух людей: лейтенанта Быкова и лейтенанта Миргорода.

Павел Миргород. Командир роты. Он и нанес тот, решающий удар по вражескому танку.

...В его жизни и в его войне будет еще много последних выстрелов, побед и потерь. Но это поле прицельного, поле стопроцентного боя лейтенант Василий Быков удержит в памяти навсегда. Правобережная Украина. Недалеко от Днепра. Мерзлая степь. Окрестности села Северниовка.

А еще запомнится острый запах земли и снега. Морозная свежесть осеннего вечера. Тихий щебет какой-то невидимой, потерявшейся в бою птицы.

Поле боя. Наши дни.

Он выйдет из этого боя, не поразив ни единой цели. Он выйдет из этого боя, не уничтожив ни одной боевой единицы.

Но он выйдет другим. И это будет его обретение. Это и станет его сильнейшим оружием в схватке с механическим автоматом войны. И через год после последнего выстрела, и через пять лет. И через сорок...

Стало быть, ему и не дано выйти из поля боя?

Догоняют осколки, застрявшие в теле ветеранов. Сорок лет поднимаются они по сосудам, чтобы настичь и войти в сердце.

Память прорывается в настоящее. Это даже не память. Недорешенное, недоговоренное, оборванное, недопонятое, непримирившееся, — разве же это память? Это живое, это непохороненное время с сильно бьющимся сердцем.

Время, застрявшее навсегда в оставшихся жить, в выстоявших, а потому через них и делающее наши дни, наше настоящее таким, каким оно только может быть и должно быть после такой войны...

А. АФАНАСЬЕВ.
(Наш спец. корр.).
Минск — Москва.